



PROJECT MUSE®

Мы все евразийские

Брюс ГРАНТ

Ab Imperio, 4/2011, pp. 21-34 (Article)

Published by Ab Imperio

DOI: <https://doi.org/10.1353/imp.2011.0019>



➔ *For additional information about this article*

<https://muse.jhu.edu/article/467001>

Брюс ГРАНТ

МЫ ВСЕ ЕВРАЗИЙСКИЕ*

Я разный –
я натруженный и праздный.
Я целе-
и нецелесообразный.
Я весь несовместимый,
неудобный,
застенчивый и наглый,
злой и добрый.
Я так люблю,
чтоб все пережегалось!
И столько всякого во мне перемешалось
от запада
и до востока,
от зависти
и до восторга!
Я знаю – вы мне скажете:
“Где цельность?”
Евгений Евтушенко, *Пролог* (1955).¹

* Настоящий текст представляет собой русский перевод президентского адреса, с которым я, как президент Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских исследований (ASEEES) в 2011 году, обратился к участникам 43-й ежегодной конференции ASEEEES, состоявшейся 17–20 ноября в Вашингтоне. Я признателен редакторам *Ab Imperio* за предложение опубликовать этот текст и за вопросы, которые позволили доработать его.

Перевод М. Могильнер.

¹ Цит. по изданию: Е. Евтушенко. *Мое самое-самое*. Москва, 1995. С. 48. Я признателен Сергею Ушакину за указание на это стихотворение.

Сейчас, когда 2011 год подходит к концу, нам предоставляется прекрасная возможность ретроспективно оценить, насколько сильно изменились регионы мира, которые мы изучаем. Эта переоценка началась два года назад в связи с осмыслением опыта 1989 года в рамках серии ретроспекций “Двадцать лет спустя”, и по мере приближения Нового года мы, без сомнения, услышим новые реквиемы по ушедшим временам.

В условиях глубокого сокращения бюджета многие из нас начали напряженно отстаивать важность того, что мы преподаем и исследуем. Наблюдая эти усилия как в собственном университете, так и в рамках Ассоциации славянских, восточно-европейских и евразийских исследований (далее ASEES), меня поразило одно из редких проявлений поддержки на высоком уровне из Вашингтона, когда министр обороны Леон Панетта объявил владение языками и знание региона “долгосрочными боевыми навыками”.² Стилистически замечание Панетты выглядит как чрезмерно экстравагантная интерпретация смысла нашей исследовательской практики и преподавания, однако оно несет в себе важное для всех нас напоминание: если веришь в важность того, что делаешь, ты должен так или иначе сражаться за свое дело. Посмотрите, к примеру, на один из наиболее обсуждаемых аспектов происходящих перемен на кампусах, где большая часть членов нашей ассоциации преподает (или учились): почти каждый из основных исследовательских центров или программ добавил к своей вывеске слово “Евразия”. По ходу дела, несомненно, большинству пришлось столкнуться с проблемой определения, что именно подразумевается под “Евразией” и что туда включать. В контексте меняющейся на наших глазах дисциплины хочется спросить не только о том, сколько же народов из изучаемых нами являются “евразийскими”, но и о том, многие ли из нас также относятся к Евразии?

В этом выступлении я не собираюсь возвращаться к обсуждению недавнего переименования ассоциации. Вместо этого давайте обратимся к эпизоду, имевшему место в 2010 году, когда вместе с коллегами мы пытались предложить тему конференции нашей ассоциации в 2011 году. Изначально я написал простую формулировку: “Власть на пространстве Евразии” (“Authority across Eurasia”), однако был тут же остановлен коллегой: “Подожди, так нельзя говорить, ты же не имеешь в виду всех

² “Language Skills, Regional Expertise, and Cultural Capabilities in the Department of Defense (DoD)”, Memorandum of 10 August 2011 for Secretaries of the Military Department, Joint Chiefs of Staff, et al. // <http://prhome.defense.gov>.

членов ассоциации?” После небольшой паузы я ответил: “На самом деле, я имею в виду всех. Мы все – евразийские”. Мое предложение не прошло, напротив, послышались замечания: “Смотри, очень вероятно, что на Кавказе и в Средней Азии до этого никому не будет дела, потому что у нас очень мало представителей этих регионов или членов, которые там работают. Российские члены ассоциации и русисты, возможно, согласятся, так как они привыкли к евразийскому ярлыку. Но восточноевропейцы точно оскорбятся. Они серьезно инвестировали в то, чтобы быть европейцами”. В контексте этих замечаний, как, впрочем, и во многих других контекстах, Евразия оказалась всего лишь обозначением бывших советских республик помимо России (и, конечно, бывших Балтийских республик, не желающих считаться “евразийскими”, а также Молдовы и Беларуси, являющих собой исключения из всех правил, и Украины, не склонной соглашаться с Россией в большинстве случаев).³

Множество исследований напоминает нам о том, что, пока мы перебирали возможные смыслы и значения термина “Евразия”, он начал победоносно распространяться. Государственный департамент и ассоциированные с ним аналитические центры, занимающиеся нашим регионом, сегодня работают при посредстве Бюро европейских и евразийских дел, чья компетенция простирается от Атлантического до Тихого океана, захватывая многих традиционных фигурантов, включая Турцию, но исключая Среднюю Азию (которая присоединена к Южной Азии). В университетских кампусах, где Евразия теперь входит в список региональных специализаций, колода перетасовывается прямо по ходу дела, как и в недавно основанном “Журнале евразийских исследований”, который программно ориентируется на охват всего бывшего советского блока, но для перестраховки уточняет в описаниях разделов, что речь идет о “России и Евразии”.

Некоторые возражают, что, поскольку никто в регионе не идентифицирует себя как “евразийца”, у этого термина априори мало прав на существование. Мне такая позиция всегда казалась заблуждением, поскольку наша задача – быть исследователями и аналитиками, а не патриотами. Большинство из нас уже живут в мире, в котором к нам прилагается целый ряд различных категорий, с которыми мы можем

³ Еще один набирающий популярность эвфемистический жест продемонстрировала, например, *The Guardian*, назвав Беларусь, Молдову и Украину “пограничьем Европейского Союза”: Guardian staff. End of the USSR: Visualising How the Former Soviet Countries Are Doing, 20 Years On // Guardian Datablog. 17 August 2011. www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/aug/17/ussr-soviet-countries-data.

идентифицировать себя, а можем и не идентифицировать. Мало кто когда-либо соотносил себя с категориями Первого, Второго и Третьего мира, однако эти понятия оставались в научном дискурсе десятилетиями.⁴ Еще один пример того же рода: подозреваю, что лишь немногие рабочие задумывались о своем отношении к концепции вроде “прибавочной стоимости”, однако это не помешало Марксу перевернуть с ног на голову шестую часть суши, переведя эту концепцию в новые политические и экономические формы. Очевидно, что осмысленные аналитические термины далеко не всегда соответствуют актуальным категориям практики.

Проделана весьма изощренная работа, прояснившая, что означает “Евразия” в разных исторических контекстах, в частности в обширных и новаторских исследованиях Марка Бассина, Сергея Глебова, Марлен Ларуель, Виктора Шнирельмана и др.⁵ Сергей Глебов, в частности, доказывает, что многие современные проявления евразийской парадигмы являются неоимперскими по своей сути, хотя этот факт не пугает наших московских коллег из замечательного и динамично развивающегося Фонда “Новая Евразия”. Стивен Коткин идет еще дальше, заявляя, что если мы стремимся охватить территорию от Восточной Европы до Китая, включая в эту сферу Персию, Турцию, Центральную и даже северные оконечности Южной Азии, мы можем отказаться от евразийского ярлыка в пользу “постмонгольского пространства”.⁶

⁴ Сегодня бывшие общества “Второго мира” наиболее часто отождествляются с членами нового содружества независимых государств, объединяются под рубрикой “формирующихся экономик” или соотносятся с альянсами типа БРИК, в то время как страны “Третьего мира” считаются пребывающими в постоянном состоянии заторможенного существования. Поэтому их определяют как “развивающиеся”, чья динамика развития вечно не совпадает с предполагаемыми общими целями эволюции “Третьего мира”. Безусловно, жители этих стран чаще всего идентифицируют себя просто по гражданству и ряду более знакомых самоопределений. В интеллектуальном смысле для нас остается важной проблема того, как проявляется воздействие каждого из этих меняющихся и соревнующихся вариантов идентичности.

⁵ Mark Bassin. Eurasianism “Classical” and “Neo”: The Lines of Continuity // Tetsuo Mochizuki (Ed.). Images of Russia in the Eurasian Cultural Context [Slavic Eurasian Studies 17]. Sapporo, 2008. Pp. 279-294; Sergey Glebov. Whither Eurasia: History of Ideas in an Imperial Situation // *Ab Imperio*. 2008. No. 2. Pp. 221-240; Marlène Laruelle. Russian Eurasianism: An Ideology of Empire. Washington, 2008; Viktor Shnirelman. To Make a Bridge: Eurasian Discourse in the Post-Soviet World // *Anthropology of East Europe Review*. 2009. Vol. 27. No. 2 (<http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/aeer/>).

⁶ Stephen Kotkin. Mongol Commonwealth? Exchange and Governance across the Post-Mongol Space // *Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History*. 2010. Vol. 11. No. 3. Pp. 487-531.

Оживленные попытки ответить на вопрос, *кто* составляет Евразию, тем не менее, отвлекают нас от другого вопроса: *почему* мы вообще хотим использовать термин, который, как показали последние десять лет, является не более чем эвфемизмом неожиданных перегруппировок и союзов (либо заменяет собой то, что несколько лет тому назад аспиранты Колумбийского университета не без воображения назвали ТЕСВОТ (“the entity covered by our title” – “сущность, обозначенная нашим названием”)).⁷ Несмотря на общую жизнерадостность этих опытов, они, по моему мнению, отвлекают нас от продуктивных аспектов самого существования термина “Евразия”, независимо от того, как мы его определяем в том или ином контексте. В своей основе идея Евразии позволяет нам преодолеть давление тех самых распространенных представлений о метрополиях и перифериях, которые долгие годы терзали историографию Европы и ее колоний. Провокационно озаглавленная книга Дипеша Чакрабарти “Провинциализируя Европу” вдохновила большинство сторонников подобного отхода от прежних стереотипов. Чакрабарти утверждает, что мифический статус Европы как основательницы всех позитивных достижений определяет статус прочих регионов через их относительную удаленность, недостаток или даже не-существование.⁸

О концепции удаленности я знаю кое-что еще по моим первоначальным полевым исследованиям на острове Сахалин у российского

⁷ Тема выпуска Ulbandus. 2007. No. 7: Empire, Union, Center, Satellite: The Place of Postcolonial Theory in Slavic/Central and Eastern European/(Post-) Soviet Studies (www.columbia.edu/cu/slavic/etc/pubs/ulbandus/contents-previous.html).

⁸ Dipesh Chakrabarty. *Provincializing Europe: Postcolonial Thought and Historical Difference*. Princeton, 2000. Упоминание Чакрабарти в моем выступлении не означает, что я воспринимаю советский опыт как колониальный. Это популярная точка зрения, которую, я, тем не менее, не готов принять. См. Bruce Grant. *The Captive and the Gift. Cultural Histories of Sovereignty in Russia and the Caucasus*. Ithaca, 2009. P. 56. Также я не считаю, что бывший социалистический мир обречен на простое повторение уроков постколониальности. Чакрабарти важен в контексте нашего разговора как демонстрация добровольной готовности к реконфигурации геополитического пространства, что особенно ценно в нынешней ситуации. Двадцать постсоциалистических лет показали, что практически каждый гражданин бывшего советского блока обладает личным опытом, позволяющим хорошо понять проблему драматического и неожиданного смещения центральности и удаленности. С учетом этого важным интеллектуальным заимствованием из постколониальной теории является критическое, остро актуальное для XXI в. осознание глубоких механизмов производства неравенства, заложенных в рыночной экономике и евроамериканском стиле парламентской демократии. В большинстве случаев это осознание давно стерлось из воображения прочих жителей планеты.

Тихоокеанского побережья. Для многих россиян Сахалин всегда воплощал словарное определение расстояния, так же как в английском языке слово *remote* – “отдаленный” – означает не столько *far away* – “далеко”, сколько *removed* – “отодвинутый, выведенный за, удаленный”.⁹ Быть отдаленным значит буквально оказаться удаленным за пределы сферы внимания, что с горькой очевидностью было ясно многочисленным арестантам и политическим ссыльным, которых отправляли на сахалинскую каторгу в XIX и начале XX вв. В этом же смысле об акте удаления говорил Чакрабарти. Провинциализация – насильственное действие. И если мы хотим скорректировать наше поле зрения, требуется оказывать некоторое сопротивление.

Я не пытаюсь опровергнуть общепринятые политические векторы, с готовностью напоминающие нам о том, что некоторые личности и регионы обладают большим могуществом – даже могуществом и властью, – чем другие. Так, жителям Сахалина, Сибири или Дальнего Востока рутинно напоминают об их отдаленности от столицы, когда они садятся в местный поезд, чье расписание составлено по московскому времени. Я испытал всю силу притягательности “Европейской России”, если не более общего агломерата западных направлений как таковых, во время моей первой экспедиции на Сахалин в 1990 году. В то время весь остров все еще являлся закрытой пограничной зоной, и мне прежде пришлось провести в Москве полтора долгих, хотя вовсе не унылых года, начитывая литературу по сибирской и дальневосточной этнографии и всеми средствами пытаюсь получить разрешение на поездку.

Когда я, в конце концов, попал на Сахалин, то, несмотря на обширную академическую подготовку, мои способности производить благоприятное впечатление при первой встрече часто наталкивались на маленькую, но стойкую проблему полной неспособности реально произнести название народа, который я собирался изучать: нивхи. Будучи заикой с раннего детства, я уже давно разработал для себя стратегии контроля произношения на английском языке при помощи монахинь в моей начальной школе в Торонто, носившей подходящее название Божьей Матери Неустанной Помощи (*Our Lady of Perpetual Help*). Но русский, как и большинство других новых для меня языков, представляет новое сложное пространство. В Москве я занимался с

⁹ Этимологическую справку см. в: *Oxford English Dictionary*. Один из лучших примеров рассуждения на эту тему: Edwin Ardener. “Remote Areas”: Some Considerations // Anthony Jackson (Ed.). *Anthropology at Home*. London, 1987. Pp. 38-53.

удивительно терпеливым и, нужно добавить, предоставленным мне бесплатно логопедом, оптимистично называемым по-русски дефектологом. Однако это мало помогло мне совладать с выговариванием столь неудачно названной группы. Так что мне было суждено отправиться примерно за восемь тысяч миль от того места, где проходит наша Вашингтонская конференция, для того лишь, чтобы говорить людям: “Да, я хотел бы заниматься нииииии... иииииии”. Вновь, и вновь, и вновь. Однако люди есть люди, и, учитывая, что 99 процентов тех, с кем я имел дело, никогда прежде не встречали канадца (да и вообще иностранца в этой закрытой до 1990 г. пограничной зоне), в отношении меня преобладала заботливая вежливость.

Эта история достигла кульминационной точки одним темным и снежным мартовским вечером, в мою первую вылазку в деревню Рыбное, которая станет местом моего исследования на протяжении следующего года, когда от некоторых запланированных путешествий пришлось отказаться из-за снега. Я и прибывшая со мной группа официальных сопровождающих оказались гостями секретаря местного сельсовета на ужине в ее полностью занесенном снегом доме. Учитывая обстоятельства, это был шикарный прием: пельмени с соленой горбушей, маринованный лук и водка. Беседа протекала, худо-бедно с моей стороны, пока один из моих кураторов, представительница коренного населения, очень сильно накрашенная сотрудница местного райисполкома, с прической, напоминающей пчелиный улей, уже хорошо выпившая к этому моменту, не заметила откровенно: “Это так типично. Нас, нивхов, всегда превратно понимают. И что вы думаете? Наконец к нам прибывает иностранный антрополог, чтобы нас изучать, и они присылают нам дефектного. Я уверена, что всех действительно хороших антропологов отправили в Европу!”

Они смеялись, смеялся и я. Мы все понимали, о чем она говорит. Воистину, удаленность.

Однако вскоре я осознал, что в других эмпирических категориях многие жители российского Дальнего Востока воспринимали свои жизни и свою личную географию как вполне самодостаточные. Говоря словами одного из моих профессоров в аспирантуре, заметившего по поводу великого философа Джамбаттиста Вико: многие называют жизнь Вико незаметной, но она, возможно, не была таковой для самого Вико.¹⁰

¹⁰ Маршал Салинс (*Marshall Sahlins*) цитирует рано умершую Шарон Стефенс, см.: What is Anthropological Enlightenment: Some Lessons from the Twentieth Century // Annual Review of Anthropology. 1999. No. 28. Pp. i-xxiii. Те, кто знаком с эссе Джоан

Тема центральности и самооценности опыта обрела еще большую значимость всего несколько спустя после моего первого визита на Сахалин, когда в результате распада СССР многие бывшие советские сообщества оказались в изоляции, в разных смыслах этого слова. Говоря о моем последнем посещении Сахалина – только что, нынешнем летом 2011 г., – там можно увидеть, что выросло целое поколение, которое гораздо в большей степени ориентировано на Владивосток, Сеул и Токио, чем может позволить себе в отношении Москвы. Да и почему, собственно, территория, находящаяся лишь в 200 километрах к северу от Японии, должна восприниматься нами как “Сибирь” (как это принято в англоговорящих сообществах) с учетом всех дистанционных и географических смещений смыслов, которые при этом происходят? С тем же успехом можно сказать “Восточная Азия”. Стоит упомянуть, что вы летите в Токио, вас, скорее всего, спросят, можно ли вытянуть ноги в самолете. Но скажите кому-то, что вы летите на Сахалин, и впечатляющее разнообразие удивленных реакций обратит нас к проблеме удаленности.

В свете сказанного я хочу спросить: что происходит, если менее известные личности и территории региона, который мы изучаем, являются не периферийными для нашей собственной картины мира или даже для метрополий, некогда управлявших ими, но центральными, ориентированными на самих себя? Этот вопрос знаком, наверное, многим, но, мне кажется, ответить на него очень непросто, учитывая силу привычки и давление доступной нам источниковой базы.

Так, по моему собственному опыту, восприятие острова Сахалин на рубеже XIX–XX вв. выглядит совершенно иначе, если учитывать высокую степень мобильности коренного населения внутри региона: регулярную торговлю с японцами, китайцами и американцами, а также русскими, что очень далеко от образа “детей природы”, популяризовавшегося в советское время.¹¹

Еще более ярко моя коллега антрополог Кэролайн Хамфри описала, насколько по-иному сталинская эпоха могла восприниматься в Бурятской автономной республике, где многие буддисты провозглашали Сталина третьей и последней реинкарнацией знаменитого Голубого

Скотт “The Evidence of Experience” (Critical Inquiry. 1991. Vol. 17. No. 4. Pp. 773-797) замечают, что мое прочтение этих давно утвердившихся антропологических принципов многим обьязано ей.

¹¹ Bruce Grant. In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas. Princeton, 1995.

Слона, некогда жившего в Индии и поклявшегося трижды уничтожить буддизм своими возвращениями.¹² Воистину это весьма иной Сталин.

Историк Михаэль Кемпер осуществляет тихую революцию (ближе к моей нынешней области исследований на Кавказе) в наших представлениях о самоидентификации на Северном Кавказе посредством тщательного изучения давно забытых деревенских архивов, в том числе юридических соглашений, написанных в XVIII–XIX вв. в Дагестане, разумеется на арабском языке. В понимании Кемпера суверенитет оказывается гораздо менее абсолютной и гораздо более гибкой категорией, пространством переговоров между друзьями, соседями и врагами, чем это обычно допускается стандартными описаниями региона.¹³

Можно было бы также обратиться к другой великой пограничной зоне “нашего” региона, к Украине, парадоксально объединяющей роли прародины России (в виде Киевской Руси) и ее же давнего соперника. В книге с замечательным названием “Биография несуществующего места” Кейт Браун ведет своевольную, мощную и порой жесткую борьбу за определение центра и периферии, помещая ее в фокус анализа пространства, некогда целиком принадлежавшего России и Польше, пространства, которое, проще говоря, являлось домом – среди прочих народов – для поколений поляков, немцев, евреев, украинцев и русских.

Институционально при желании все эти проекты можно было бы определить как “кроссоверы” – в географическом смысле в случае Браун, в дисциплинарном – в случае Хамфри и Кемпера, которые опираются на параллельно полученную подготовку в восточноазиатских или исламских исследованиях. Но чем просто пожимать плечами, констатируя очевидное, кажется важнее отметить, что перечисленные исследователи отнеслись серьезно прежде всего к эмпирическим трудностям каждой из изучаемых ими тематических сфер, признавая всю многогранность опыта, с которым они столкнулись, а не только

¹² Caroline Humphrey. Stalin and the Blue Elephant: Paranoia and Complicity in Post-Communist Metahistories // Harry West and Todd Sanders (Eds.). *Transparency and Conspiracy: Ethnographies of Suspicion in the New World Order*. Durham, 2003. Pp. 175-203. В ряду современных исследователей Сибири хочется указать на Аню Бернштейн (*Anya Bernstein*), которая пытается ответить на вопрос, почему бурятские буддисты недавно назвали российского президента Дмитрия Медведева реинкарнацией Белой Тары. См.: Anya Bernstein. *More Alive Than All the Living: Sovereign Bodies and Cosmic Politics in Buddhist Siberia* // *Cultural Anthropology*, в печати.

¹³ Michael Kemper. *Communal Agreements (ittifaqat) and 'adat: Books from Daghestani Villages and Confederacies (18th–19th Centuries)* // *Der Islam*. 2004. No. 81. Pp. 115-151.

тот узкий спектр, который большинство из нас способны осмыслить в рамках классически интерпретированных регионоведения и дисциплинарных рамок. С моей точки зрения, именно это делает их проекты прорывом, но я бы также рассматривал их частью того послания, которое несет головоломка “Евразии” в контексте нашей быстро меняющейся дисциплины. Поэтому меня меньше занимает, какие именно страны включаются в “Евразию” в каждом конкретном случае, чем те потенциальные возможности, которые эти меняющиеся комбинации предоставляют исследователям, стремящимся к лучшему пониманию прошлого, настоящего и будущего.

Мой непосредственный предшественник на посту президента этой ассоциации, Марк фон Хаген, несколько лет назад провидчески писал о Евразии как об “антипарадигме”. Если я правильно передаю его тогдашнюю мысль, сам факт новизны категории “Евразия” должен был открыть новые горизонты, бросая вызов устоявшимся знаниям, все более активно потрясаемым новыми архивными открытиями и изменениями контуров регионоведения.¹⁴ Безусловно, я всячески поддерживаю этот подход. Но я также думаю, что мы уже можем обернуться назад и оценить работу, сделанную многими членами ассоциации за последние несколько лет, с тем чтобы ответить на вопрос: куда эта антипарадигма нас ведет и можно ли определить ее в позитивных терминах? Ответом может служить указание на новое поколение ученых, которые приводят примеры миров гораздо менее закрытых или по крайней мере менее ограниченных, чем мы могли бы иначе представить себе.

Вот в этом смысле я и желаю всем нам – и не только тем из нас, кто имеет дело с Кавказом и Средней Азией, – рассматривать себя в качестве “евразийцев”. Принадлежность к Евразии в этом контексте не более чем напоминание о том, как трудно делать то, о чем лучшие ученые из числа нашего сообщества знали на протяжении десятилетий: держать глаза и уши открытыми к многочисленным потокам смыслов, сенсильности, к многообразию контекстов и опыта, составляющим миры, которые мы стремимся лучше понять.

Мне бы не пришлось настаивать на термине “Евразия”, если бы Европейский Союз в начале 1990-х годов более серьезно отнесся к

¹⁴ Mark Von Hagen. Empires, Borderlands, and Diasporas: Eurasia as an Anti-Paradigm for the Post-Soviet Era // American Historical Review. 2004. Vol. 109. No. 2. Pp. 445-468. Русское издание: Марк фон Хаген. Империи, окраины и диаспоры: Евразия как антипарадигма для постсоветского периода // Ab Imperio. 2004. № 1. С. 127-170.

предложению Горбачева о создании “единого европейского дома”, простирающегося от Атлантического до Тихого океана, что открывало бы возможность для складывания геополитического пространства, охватывающего гораздо более широкий спектр культурных и религиозных формаций, чем это есть сегодня.¹⁵ Концепция “общего европейского дома” не сдвинулась с места в то время, когда простое объединение Восточной и Западной Германий могло казаться более чем достаточным вызовом. Но ее провал, я считаю, – вполне признавая, что это звучит катерхезой (“когда на не имеющее своего наименования переносится наименование ближайшее”¹⁶), – оставил возможность для формирования нового типа ощущения евразийской солидарности, как и для более широких концептуальных жестов.

Вспомним событие не двадцатилетней, а десятилетней давности, еще один момент глубокого и неожиданного поворота, когда 11 сентября 2001 года США подверглись террористической атаке. На следующий день парижская газета *Le Monde* вышла со следующим заголовком на первой странице: “Nous sommes tous Américains” – “Мы все американцы”. Я считаю, что этот щедрый жест служит еще одним напоминанием о том, что эмпатия способна переопределить приоритетность не только чужих жизней, но и нашей собственной. На короткий момент рушатся стены, разделяющие мир, и наше восприятие Земли (и, возможно, даже друг друга), меняется и пересматривается. Мы, допустим, не жили в Московии XV в., но, чтобы понять ее по прошествии лет, мы должны стать “москвитами” в нашем воображении, в том, как мы читаем сохранившиеся документы, и в признании первостепенности переживаний, свойственных этому месту в свое время. Большинство из нас на этой вашингтонской конференции не буряты, но понимание полного репертуара культурных, исторических и религиозных бурятских референций действительно проливает новый свет на то, что означала сталинская эпоха для многих буддистов, пропавших под ее антирелигиозным катком.

¹⁵ Mary Elise Sarotte. 1989: *The Struggle to Create Post-Cold War Europe*. Princeton, 2009. Недофинансированная деятельность вновьявленного Совета Европы, который насчитывает больше членов, чем любая другая европейская организация, указывает на ограничения подобного рода инициатив.

¹⁶ Определение катерхезы как риторического приема, данное римским оратором Марком Фабием Квинтилианом. Обычно катерхезу определяют как необычное или ошибочное сочетание слов вопреки несовместимости их буквальных значений (например, “облокотивши на руку... голову” у Льва Толстого в “Войне и мире”). – *Примеч. перев.*

Не так давно, раздумывая над вопросами эмпатии, актуализации приоритетов и о связях, которые проявляются при мышлении в евразийской логике, я читал эссе о культурной политике в Латинской Америке. Некоторые из вас, наверное, помнят вспышку насилия в штате Чьяпас в Мексике в 1994 г., когда сапатистская армия национального освобождения (*исп.* Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN) объявила войну мексиканскому государству. Тогда EZLN возглавлял (и, возможно, возглавляет до сих пор) загадочный субкоманданте Маркос в черной маске, человек, отказывающийся от обычных соблазнов лидерства и прикладывающий немало усилий, чтобы не превратиться в самостоятельную фигуру. Пытаясь найти прорехи в защитной броне этого необычного персонажа, журналист спросил Маркоса, не является ли он геем. Характерно, что Маркос ответил на этот личный вопрос в форме третьего лица:

Маркос является геем в Сан-Франциско, черным в Южной Африке, азиатом в Европе, чикано в Сан-Исидро, анархистом в Испании, палестинцем в Израиле, индейцем майя на улицах Сан Кристобаля, членом банды в Неже, рокером в Национальном университете, евреем в Германии, омбудсменом в министерстве обороны, коммунистом в эпоху после холодной войны, художником без галереи и портфолио, пацифистом в Боснии, домохозяйкой, проводящей субботний вечер в одиночестве в любом из кварталов Мехико, репортером, чьи заметки публикуют на последних страницах газет, одинокой женщиной в метро в 22.00, крестьянином без земли, безработным рабочим, диссидентом в условиях рыночной экономики, писателем без книг или читателей и, конечно, *сапатиста* в горах южной Мексики.¹⁷

Я понимаю, что этот пассаж слишком длинный для устной речи (надеюсь, это была не запись живой речи, а ответ по электронной почте). Я бы сказал, что быть евразийцем или по крайней мере думать на евразийский манер не означает, что мы великодушно согласны быть всем для всех людей. Но это предполагает гибкость опыта, позволяющего нам быть открытыми остальному миру вокруг нас. Маркос может очень разборчиво выбирать для себя тип политики и насилия. Но его позиция не так далека от заявления Маркса и Энгельса, которое адресовано всем: рабочие не имеют отечества.

¹⁷ Цит. по: Michael Taussig. *Defacement: Public Secrecy and the Labor of the Negative*. Stanford, 1999. P. 264.

Простите мне этот анахронизм, однако я рискну предположить, что в написанном 163 года назад Марксом и Энгельсом “Манифесте коммунистической партии” (1848) есть что-то очень евразийское. Скажу больше: что-то евразийское есть в исследованиях, которые многие члены нашей ассоциации, не используя этот термин, проводили на протяжении многих лет, чутко настраиваясь на восприятие меняющихся миров и пространств контакта. С моей точки зрения, появление термина “Евразия” в названии нашей организации – одно из лучших событий, случившихся за двадцать пять лет моего скромного членства в ней. Отчасти это переопределяет нас как сообщество, сознательно становящееся более разнообразным (хотя и не более разнообразным, чем мы были всегда). Но это также вносит экзистенциальный аспект в наше совместное дело: признание невозможности, или, лучше сказать, донкихотского характера, попыток вжиться в образ другого (независимо от того, из какой части света мы приходим), оказаться в других временах, пространствах, с иными знаниями, в другой жизни.

SUMMARY

This is a Russian-language version of the presidential address delivered by Bruce Grant, the president of ASEEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies), before the members of the association at the forty-third annual ASEEEES convention that took place in Washington, DC, on November 17–20, 2011. Grant suggests his interpretation of the meaning of being “Eurasian.” This interpretation is based on critical observations of recent developments in our field as well as on Grant’s personal experience as a researcher of regions and cultures different from his own. He is less concerned with which countries are included in any given concept of “Eurasia” than with what the promise of these continually shifting alignments offers us as scholars looking for better ways to understand the past, the present, and the future. Grant suggests that the idea of Eurasia, at its core, enables us to move past the same kind of stock-in-trade assumptions about metropolises and hinterlands that have long bedeviled studies of Europe and its colonies. The “Eurasian” approach, in Grant’s interpretation, makes the lesser-known peoples and regions of the world area we study not peripheral to our own ranges of vision, or even to the metropolises that have historically governed them. They are approached as central, unto

themselves. Being Eurasian, in this context, is nothing more than a reminder of how difficult it is to keep one's eyes and ears open to the multiple flows of sense, sensibility, context, and experience that constitute the worlds we seek to better understand. The acceptance of such "Eurasianism" inserts an existential moment into the ASEES collective project, Grant concludes, a recognition of the impossibility, or perhaps better put, the quixotic project of living in someone else's shoes, no matter what part of the world we are from, of occupying other times, other spaces, other knowledges, and other lives.